



Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее *матерям и юношеству*.

А. К.



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города жили из рода в род ямщики — казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называлась Ямской слободой, или просто Ямской, Ямками, или, еще короче, Ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, лихое ямщицье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за Ямой на много лет — даже до сего времени — осталась темная слава, как о месте развеселом, пьяном, драчливом и в ночную пору небезопасном.

Как-то само собою случилось, что на развалинах тех старинных, насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатки и чернобровые слобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам. К концу XIX столетия обе улицы Ямы — Большая Ямская и Малая Ямская — оказались занятыми сплошь, и по ту и по другую сторону, исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не больше пяти-шести, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надобности ямской проституции.

Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех тридцати с лишком заведениях, разница только в плате, взимаемой за кратковременную любовь, а следовательно, и в некоторых внешних мелочах: в подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки.

Самое шикарное заведение — Треппеля, при въезде на Большую Ямскую, первый дом налево. Это старая фирма. Теперешний владелец ее носит совсем другую фамилию и состоит гласным городской думы и даже членом управы. Дом двухэтажный, зеленый с белым, выстроен в ложнорусском, ёрническом, ропетовском стиле, с коньками, резными наличниками, петухами и деревянными полотенцами, окаймленными деревянными же кружевами; ковер с белой дорожкой на лестнице; в передней чучело медведя, держащее в протянутых лапах деревянное блюдо для визитных карточек; в танцевальном зале паркет, на окнах малиновые шелковые тяжелые занавеси и тюль, вдоль стен белые с золотом стулья и зеркала в золоченых рамах; есть два кабинета с коврами, диванами и мягкими атласными пуфами; в спальнях голубые и розовые фонари, канаусовые одеяла и чистые подушки; обитательницы одеты в открытые бальные платья, опушенные мехом, или в дорогие маскарадные костюмы гусаров, пажей, рыбацек, гимназисток, и большинство из них — остзейские немки — крупные, белотелые, грудастые красивые женщины. У Треппеля берут за визит три рубля, а за всю ночь — десять.

Три двухрублевых заведения — Софьи Васильевны, «Старо-Киевский» и Анны Марковны — несколько поплоче, победнее. Остальные дома по Большой Ямской — рублевые; они еще хуже обставлены. А на Малой Ямской, которую посещают солдаты, мелкие воришки, ремесленники и вообще народ серый и где берут за время пятьдесят копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно: пол в зале кривой, облупленный и занозистый, окна завешены красными кумачовыми кусками; спальни, точно стойла, разделены тонкими перегородками, не достающими до потолка, а на кроватях, сверх сбитых сенников,

валяются скомканные кое-как, рваные, темные от времени, пятнистые простыни и дырявые байковые одеяла; воздух кислый и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха человеческих извержений; женщины, одетые в цветное ситцевое тряпье или в матросские костюмы, по большей части хриплы или гнусавы, с полупровалившимися носами, с лицами, хранящими следы вчерашних побоев и царапин и наивно раскрашенными при помощи послушенной красной коробочки от папирос.

Круглый год, всякий вечер, — за исключением трех последних дней Страстной недели и кануна Благовещения, когда птица гнезда не вьет и стриженная девка косы не заплетает, — едва только на дворе стемнеет, зажигаются перед каждым домом, над шатровыми резными подъездами, висят красные фонари. На улице точно праздник — Пасха: все окна ярко освещены, веселая музыка скрипок и роялей доносится сквозь стекла, непрерывно подъезжают и уезжают извозчики. Во всех домах входные двери открыты настежь, и сквозь них видны с улицы: крутая лестница, и узкий коридор вверху, и белое сверканье многогранного рефлектора лампы, и зеленые стены сеней, расписанные швейцарскими пейзажами. До самого утра сотни и тысячи мужчин подымаются и спускаются по этим лестницам. Здесь бывают все: полуразрушенные, слюнявые старцы, ищущие искусственных возбуждений, и мальчики — кадеты и гимназисты — почти дети; бородатые отцы семейств, почтенные столпы общества в золотых очках, и молодые жены, и влюбленные женихи, и почтенные профессора с громкими именами, и воры, и убийцы, и либеральные адвокаты, и строгие блюстители нравственности — педагоги, и передовые писатели — авторы горячих, страстных статей о женском равноправии, и сыщики, и шпионы, и беглые каторжники, и офицеры, и студенты, и социал-демократы, и анархисты, и наемные патриоты; застенчивые и наглые, больные и здоровые, познающие впервые женщину, и старые развратники, истрепанные всеми видами порока; ясноглазые красавцы и уроды, злобно исковерканные природой, глухонемые, слепые, безносые, с дряблыми, отвис-

лыми телами, с зловонным дыханием, плешивые, трясущиеся, покрытые паразитами — брюхатые, геморроидальные обезьяны. Приходят свободно и просто, как в ресторан или на вокзал, сидят, курят, пьют, судорожно притворяются веселыми, танцуют, выделявая гнусные телодвижения, имитирующие акт половой любви. Иногда внимательно и долго, иногда с грубой поспешностью выбирают любую женщину и знают наперед, что никогда не встретят отказа. Нетерпеливо платят вперед деньги и на публичной кровати, еще не остывшей от тела предшественника, совершают бесцельно самое великое и прекрасное из мировых таинств — таинство зарождения новой жизни. И женщины с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями удовлетворяют, как машины, их желаниям, чтобы тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами принять третьего, четвертого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале.

Так проходит вся ночь. К рассвету Яма понемногу затихает, и светлое утро застает ее безлюдной, просторной, погруженной в сон, с накрепко закрытыми дверями, с глухими ставнями на окнах. А перед вечером женщины проснутся и будут готовиться к следующей ночи.

И так без конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих публичных гаремах странной, неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятые семьей, жертвы общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладострастия, оберегательницы семейной чести — четыреста глупых, ленивых, истеричных, бесплодных женщин.

## II

Два часа дня. Во второстепенном, двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамах, с двумя десятками плюшевых стульев, чинно расставленных

вдоль стен, с олеографическими картинами Маковского «Боярский пир» и «Купанье», с хрустальной люстрой по середине — тоже спит и в тишине и полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно-печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звенела разудалая музыка, колебался синий табачный дым, носились, вихляя бедрами и высоко вскидывая ногами вверх, пары мужчин и женщин. И вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон и кипела до утра людьми и экипажами.

Теперь улица пуста. Она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гардины, и оттого в ней темно, прохладно и так особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда.

Тускло поблескивает фортепиано своим черным, изогнутым, глянцевитым боком, слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые, шербатые клавиши. Застоявшийся, неподвижный воздух еще хранит вчерашний запах; пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом нездорового и нечистого женского тела, пудрой, борно-тимоловым мылом и пылью от желтой мастики, которой был вчера натерт паркет. И со странным очарованием примешивается к этим запахам запах увядающей болотной травы. Сегодня Троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами, толстую траву повсюду: в коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажгли лампы перед всеми образами. Девицы, по традиции, не смеют этого делать своими оскверненными за ночь руками.

А дворник украсил резной, в русском стиле, подъезд двумя срубленными березками. Так же и во всех домах около крылец, перил и дверей красуются снаружи белые тонкие стволы с жидкой умирающей зеленью.



Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухне рубят к обеду котлеты. Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только шесть временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она прекрасно, сладко выспалась одна, совсем одна, на широкой постели. Она рано встала, в десять часов, и с удовольствием помогла кухарке вымыть в кухне пол и столы. Теперь она кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий пес с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку передними лапами, туго натягивая цепь и храпя от удушья, то, весь волнуясь спиной и хвостом, пригибает голову к земле, морщит нос, улыбается, скулит и чихает от возбуждения. А она, дразня его мясом, кричит на него с притворной строгостью:

— Ну, ты, болван! Я т-тебе дам! Как смеешь?

Но она от души рада волнению и ласке Амура, и своей минутной власти над собакой, и тому, что выспалась и провела ночь без мужчины, и Троице, по смутным воспоминаниям детства, и сверкающему солнечному дню, который ей так редко приходится видеть.

Все ночные гости уже разъехались. Наступает самый деловой, тихий, будничный час.

В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом, — Анна Марковна. Ей лет под шестьдесят. Она очень мала ростом, но кругло-толста: ее можно себе представить, вообразив снизу вверх три мягких студенистых шара — большой, средний и маленький, втиснутых друг в друга без промежутков; это — ее юбка, торс и голова. Странно: глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно, мокрой нижней малиновой губой. Ее муж — Исай Саввич — тоже маленький, седенький, тихонький, молчаливый старичок. Он у жены под башмаком; был швейцаром в этом же доме еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой.

Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для загулявших приказчиков, жаждущих пьяных слез.

Затем две экономки — старшая и младшая. Старшая — Эмма Эдуардовна. Она — высокая, полная шатенка, лет сорока шести, с жирным зобом из трех подбородков. Глаза у нее окружены черными геморроидальными кругами. Лицо расширяется грушей, от лба вниз, к щекам, и землистого цвета; глаза маленькие, черные; горбатый нос, строго подобранные губы; выражение лица спокойно-властное. Ни для кого в доме не тайна, что через год, через два Анна Марковна, удалясь на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть — в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтут ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет, бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которую она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем побои.

Другую — зовут Зося. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девицы покамест еще называют ее безлично, льстиво и фамильярно «экономочкой». Она худощава, вертлява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической барашком; обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подбострастием.

Наконец пятое лицо — местный околоточный надзиратель Кербеш. Это атлетический человек; он лысоват, у него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил по сыскной части и был грозой жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах.

У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что два года тому назад он женился на богатой се-

мидесятилетней старухе, а в прошлом году задушил ее; однако ему как-то удалось замаять это дело. Да и остальные четверо тоже видели кое-что в своей пестрой жизни. Но, подобно тому как старинные бретеры не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темное и кровавое в своем прошлом, как на неизбежные маленькие неприятности профессий.

Пьют кофе с жирными топлеными сливками, околочный — с бенедиктином. Но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение.

— Так как же, Фома Фомич? — спрашивает искастельно хозяйка. — Это же дело выеденного яйца не стоит... Ведь вам только слово сказать...

Кербеш медленно втягивает в себя полрюмки ликера, слегка разминает языком по нёбу маслянистую, острую, крепкую жидкость, проглатывает ее, запивает не торопясь кофеем и потом проводит безымянным пальцем левой руки по усам вправо и влево.

— Подумайте сами, мадам Шойбес, — говорит он, глядя на стол, разводя руками и щурясь, — подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь! Девушка была обманым образом вовлечена в это... в как его... ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию. Хорошо-с. Она попадает из одного места в другое, из пятого в десятое... Наконец след находится у вас, и главное, — подумайте! — в моем околотке! Что я могу поделать?

— Господин Кербеш, но ведь она же совершеннолетняя, — говорит хозяйка.

— Оне совершеннолетние, — подтверждает Исай Саввич. — Оне дали расписку, что по доброй воле...

Эмма Эдуардовна произносит басом, с холодной уверенностью:

— Ей-богу, она здесь как за родную дочь.

— Да ведь я не об этом говорю, — досадливо морщится околоточный. — Вы вникните в мое положение...

Ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься!

Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околоточному ленивым, невыразительным блекло-голубым глазом:

— Господин Кербеш, я попрошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение.

— А-а! С удовольствием...

Через десять минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербеша хрустит в кармане новенькой сторублевой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. Околоточный, поспешно допивая бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов:

— Вот у меня сын гимназист — Павел. Приходит, подлец, и заявляет: «Папа, меня ученики ругают, что ты полицейский, и что служишь на Ямской, и что берешь взятки с публичных домов». Ну, скажите, ради бога, мадам Шойбес, это же не нахальство?

— Ай-ай-ай!.. И какие тут взятки?.. Вот и у меня тоже...

— Я ему говорю: «Иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края». Что же вы думаете? Приходит и говорит: «Я тебе больше не сын, — ищи себе другого сына». Аргумент! Ну, и всыпал же я ему по первое число! Ого-го! Теперь со мной разговаривать не хочет. Ну, я ему еще покажу!

— Ах, и не рассказывайте, — вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю малиновую губу и затуманив свои блеклые глаза. — Мы нашу Берточку, — она в гимназии Флейшера, — мы нарочно держим ее в городе, в почтенном семействе. Вы понимаете, все-таки неловко. И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела.

— Ей-богу, Анночка вся покраснела, — подтверждает Исай Саввич.